

С. А. Фомичев

ПУШКИНСКАЯ
ПЕРСПЕКТИВА



STUDIA PHILOLOGICA

С. А. Фомичев

Пушкинская перспектива

«Языки Славянской Культуры»

2007

Фомичев С. А.

Пушкинская перспектива / С. А. Фомичев — «Языки Славянской
Культуры», 2007

В книгу вошли статьи, посвященные произведениям разных эпох русской литературы, – от средневековья до современности, в которых прослежено пушкинское начало. Особый раздел книги содержит анализ документальной пушкинской прозы, в которой были предвосхищены ныне актуальные художественные искания.

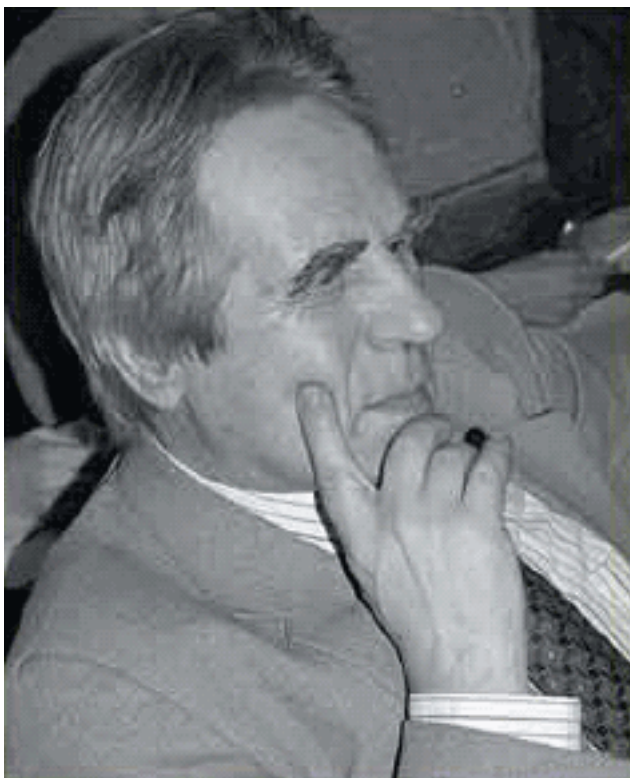
© Фомичев С. А., 2007

© Языки Славянской Культуры, 2007

Содержание

Предисловие	6
I	9
Пушкин и древнерусская литература	9
1	10
2	14
3	18
4	22
Первая поэма Пушкина	30
Смеховой мир «Комедии о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве»	36
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Сергей Александрович Фомичев Пушкинская перспектива



Сергей Александрович Фомичев родился в 1937 году в г. Горьком. Доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Автор книг «Грибоедов в Петербурге» (1982), «Комедия А. С. Грибоедова „Горе от ума“: Комментарий» (1983, 1994), «Поэзия Пушкина. Творческая эволюция» (1986), «Графика Пушкина» (1993), «Служенье муз: О лирике Пушкина» (2001), «„Евгений Онегин“. Движение замысла» (2005) и др., а также многих статей о текстологии и истории русской литературы. Главный редактор академического Полного собрания сочинений А. С. Грибоедова в трех томах (1995–2006), соредактор (наряду с Э. Холлом) восьмитомного факсимильного издания «А. С. Пушкин. Рабочие тетради» (1995–1998).

Предисловие

В книге собраны статьи разных лет, тяготеющие к единой теме, ныне вынесенной в общее заглавие. «Любовь к Пушкину (непонятная для иностранцев), – замечала Л. Я. Гинзбург, – верный признак человека русской культуры. Любого другого русского писателя можно любить или не любить – это дело вкуса. Но Пушкин как явление для нас обязателен. Пушкин – стержень русской культуры. Выньте стержень – связи распадутся».¹ Прежде всего это связи – с культурным прошлым, которые во многом были восстановлены Пушкиным. «История русской культуры XVIII–XX столетий, – подчеркивал академик Д. С. Лихачев, – это по существу постоянный и очень интересный диалог русской современности с Древней Русью, диалог далеко не мирный. В ходе этого диалога культура Древней Руси как бы росла, становилась все значительнее и значительнее»².

«Немирным», творческим был и диалог Пушкина с его современниками. Намечая свой собственный путь, наиболее талантливые из них нередко вступали с ним в спор, который по своему стимулировал художественные поиски и откровения.

Русская литература – и ее золотого, и серебряного веков – складывалась и развивалась постоянно под знаком Пушкина.³ Речь здесь должна идти не просто о влиянии, а именно о пушкинском языке русской культуры, неисчерпаемое богатство которого развито в столь разностильных романах, как «Анна Каренина» Л. Н. Толстого, «История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина, «Петербург» Андрея Белого.

По-особому присутствует Пушкин в антиутопиях начала XX века. В новоязовском мире, изображенном в романе «Мы» Е. Замятина, память о Пушкине хранится, однако, в Древнем Доме: «С полочки на стене прямо в лицо мне приметно улыбалась курносая асимметричная физиономия какого-то из древних поэтов (кажется, Пушкина)». А за Зеленой Стеной герой видит изображение «крылатого юноши», у которого «прозрачное тело, и там где должно быть сердце, – ослепительный, малиново тлеющий уголь. И опять: я понимаю этот уголь... или не то... чувствую его – так же, не слыша, чувствую каждое слово».⁴

Трогательно комичен герой роман А. Платонова «Чевенгур» Степан Копенкин, но в его путеводном идеале откликается Sancta Rosa пушкинского «рыцаря бедного»:

– Роза! – уговаривал свою душу Копенкин и подозрительно оглядывал какой-нибудь голый куст: так же ли он тоскует по Розе. Если не так, Копенкин подправлял к нему коня и ссекал куст саблей: если Роза тебе не нужна, то для иного не существуй – нужнее Розы ничего нет.

В шапке Копенкина был зашит плакат с изображением Розы Люксембург. На плакате она нарисована красками так красиво, что любой женщине с ней не сравняться...⁵

Может быть, самой удивительной реминисценцией из Пушкина стал припев коммунистического гимна «Интернационал»: «Это будет последний / И решительный бой...».⁶

В оригинале Э. Потье «решительного» нет.⁷ Так написал в 1902 году русский поэт, член РСДРП А. Я. Коц, который и ранее в своих произведениях обращался к Пушкину, а в пере-

¹ Гинзбург Л. Человек за письменным столом. Л., 1989. С. 327.

² Лихачев Д. С. Прошлое – будущему: Статьи и очерки. Л., 1985. С. 158.

³ Краткую библиографию по этой теме см. в кн.: Фризман Л. Семинарий по Пушкину. Харьков, 1995.

⁴ Замятин Е. Избранные произведения. М., 1989. С. 564–565, 630.

⁵ Платонов А. Чевенгур. М., 1988. С. 121.

⁶ См.: Листов В. С. «Темный твой язык учу...» (в печати). После 1917 года уже пели: «Это есть наш последний / И решительный бой...».

⁷ Ср.: «C'est la lutte finale: / Groupons-nous et demain, / L'Internationale / Sera le genre humain» (Potier E. Chants revolutionnaires. Paris, 1937. P. 23. Перевод: «Это последняя битва: / Объединимся, и завтра/ Интернационал / Станет образом жизни человечества»).

ложении французского стихотворения использовал формулу, дважды повторенную в «Сценах из рыцарских времен» – в диалоге алхимика, изобретателя пороха Бертольда Шварца и его кредитора Мартына:

Бертольд

(...) Ты знаешь, что я обещался Пресвятой Богородице разделить мою тайну с тем, кто поможет мне при *последнем и решительном* моем опыте.

Мартын

Эх, отец Бертольд, охота тебе разоряться! Куда ж ты? – постой! Ну, так и быть. На этот раз дам тебе денег взаймы. Бог с тобою! Но смотри ж, сдержи свое слово. Пусть этот опыт будет *последним и решительным*» (VII, 218; курсив мой. – С. Ф.⁸).

В любви русских к Пушкину были и будут еще, конечно, свои провалы.

Уже многие, – писал В. Ходасевич (в 1921 г.!), – не слышат Пушкина, как мы его слышим, потому что от грохота последних шести лет стали они туговаты на ухо. Чувство Пушкина приходится им переводить на язык своих ощущений, притупленных раздирающими драмами кинематографа. Уже многие образы Пушкина меньше говорят им, нежели говорили нам, ибо неясно им виден мир, из которого почерпнуты эти образы, из соприкосновения с которым они родились. И тут снова – не отщепенцы, не вырожденки: это просто новые люди. Многие из них безусыми юношами, чуть ли не мальчиками, посланы были в окопы, повидали горы трупов, сами распоролы немало человеческих животов, нажгли городов, разворотили дорог, вытоптали полей – и вот вчера возвратились, разнося свою психическую заразу. Не они в этом виноваты – но все же до понимания Пушкина им надо еще долго расти. Между тем необходимость учиться и развиваться духовно ими осознается недостаточно – хотя в иных областях жизни, особенно в практических, они проявляют большую активность.⁹

Пушкин еще при жизни своей в полной мере испытал охлаждение читающей публики и критические разносы. Достаточно вспомнить хотя бы статью В. Г. Белинского «О русской повести и повестях Гоголя», где, расчищая пути гоголевскому направлению, критик утверждал:

Итак, Марлинский, Одоевский, Погодин, Полевой, Павлов, Гоголь – здесь полный круг истории русской повести. Да – полный, может быть, чересчур полный; но я говорил здесь о всех повестях, в каком бы то ни было отношении примечательных, а эта примечательность состоит не в одной художественности, но и во времени появления, и во влиянии, хорошем или дурном, на литературу, в большей или меньшей степени таланта, и, наконец, в самом характере и направлении. Поименованные мною авторы должны быть упомянуты в истории русской повести, по всем этим отношениям и суть истинные ее представители. О других, которых много, очень много, умалчиваю, ибо при всех своих достоинствах, они не касаются предмета моей статьи, и перехожу к г. Гоголю...¹⁰

⁸ Произведения Пушкина цитируются по Большому академическому изданию (1937–1949). Ссылки на автографы Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме, даются сокращенно – с подразумеваемым префиксом: Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, фонд 244, опись 1.

⁹ Ходасевич В. Ф. Колеблемый треножник//А. С. Пушкин: Pro et contra: Личность и творчество Александра Пушкина в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология. Т. 1. СПб., 2000. С. 486.

¹⁰ Белинский В. Г. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. М., 1948. С. 123–124.

Ни «Повести Белкина», ни «Пиковая дама» в этом обзоре даже не упомянуты. И впоследствии Белинский, при всей своей проницательности, не заметил новаторства Пушкина в области прозы, напрямую использующей (или имитирующей) документ. Поиски Пушкина в этом направлении являются предвестьем художественных откровений Новейшего времени.

I

Пушкин и древнерусская литература

В пушкинское время многие важнейшие памятники древнерусской литературы оказались забытыми, да и собственно древнерусская литература в эстетическом сознании еще недостаточно отчетливо дифференцировалась с фольклором, лубочной литературой, историческими и юридическими памятниками, с различными явлениями быта (в частности, с церковной обрядностью).

Определенные шоры в восприятии древнерусской культуры накладывала и просветительская идеология. Здесь надо иметь в виду и характерную для просветительства недооценку Средневековья, а главное, то обстоятельство, что для передовой просветительской мысли в России начала XIX века наиболее актуальным стало прогрессивное размежевание старой и новой культур, с особой силой обозначенное реформами Петра I.

Однако литература Древней Руси была постоянно в поле зрения Пушкина уже потому, что многие его произведения посвящены русскому Средневековью: поэмы «Руслан и Людмила», «Мстислав», «Вадим», драмы «Борис Годунов» и «Русалка», стихотворения «Песни о Стеньке Разине», «Песнь о вещем Олеге», «Какая ночь! Мороз трескучий...», «Олегов щит», «Моя родословная».

Живое восприятие памятников древнерусской литературы прослеживается в самом языке Пушкина. Так, строки из «Воспоминаний в Царском Селе» (1814): «Ширяся крылами, / Над ним сидит орел молодой» – это довольно распространенный в русской литературе поэтизм, Пушкиным, наверно, почерпнутый из Державина. Но по своему происхождению этот фразеологизм восходит к «Слову о полку Игореве». ¹¹

«Строчка из послания „К Чаадаеву“ 1818 г. („Напишут наши имена“), – заметил В. В. Иванов, – представляет собою явно перифраз двух мест из „Повести временных лет“: „да испишуть имена их“ (907 г., договор Олега с греками); „да испишетъ имена ваша“ (944 г.)». ¹²

Заканчивая свой роман в стихах, Пушкин скажет:

... Блажен, кто праздник Жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина (...) (VI, 190).

Метафора «праздник жизни», как давно замечено, – калька знаменитой строчки из «Оды IX» Н. Жильбера «au banquet de la vie», ¹³ которую Пушкин употребил ранее в одном из лицейских посланий: «Мне кажется: на жизненном пиру / Один с тоской явлюсь я...». ¹⁴ Однако позже на поэтическое использование этой метафоры лег отсвет оды А. Шенье «Молодая узница»:

Au banquet de la vie a peine commence
Un instant seulement mes levres ont presse

¹¹ Прийма Ф. Я. «Слово о полку Игореве» в русском историко-литературном процессе первой трети XIX в. Л., 1980. С. 121.

¹² Иванов В. В. Откуда черпал образы Пушкин – футуролог и историк? // Новые безделки: Сб. ст. к 60-летию В. Э. Вацура. М., 1995–1996. С. 415.

¹³ Французская элегия XVIII–XIX веков в переводах поэтов пушкинской поры. М., 1989. С. 609.

¹⁴ Пушкин А. С. Лицейские стихотворения. 1813–1817. СПб., 1999. С. 286.

La coupe en mes mains encor pleine.¹⁵

Отметим, однако, и еще одну текстовую параллель к онегинским строкам: «От сего житья добро изити, яко на пиру: ни жаждуца, ни упившись добре».¹⁶ Держал ли Пушкин в памяти эту апофегму или невольно попал ей в тон – в любом случае это совпадение знаменательно.

Еще предстоит обследовать отклики Пушкина на памятники древнерусской словесности, которые издавна были в сфере его интересов.

1

В 1822 году в историческом вступлении к автобиографическим запискам Пушкин скажет:

По смерти Петра I движение, переданное сильным человеком, всё еще продолжалось в огромных составах государства преобразованного. Связи древнего порядка вещей были прерваны навеки; воспоминания старины малопомалу исчезали. Народ, упорным постоянством удержав бороду и русский кафтан, доволен был своей победою и смотрел уже равнодушно на немецкий образ жизни обритых своих бояр. Новое поколение, воспитанное под влиянием европейским, час от часу более привыкало к выгодам просвещения (XI, 14).

Широкий историко-социологический масштаб вступления не позволяет писателю специально останавливаться на литературном процессе, но этот процесс он несомненно осмысляет в русле движения всей культуры. Чрезвычайно важно отметить здесь принципиальное пушкинское суждение относительно народного просвещения (противопоставленного современному, утверждавшемуся на европейских началах):

Екатерина явно гнала духовенство, жертвуя тем своему неограниченному властолюбию и угождая духу времени. Но лишив его независимого состояния и ограничив монастырские доходы, она нанесла сильный удар просвещению народному (...) В России влияние духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно в землях римско-католических. (...) Мы обязаны монахам нашей Историю, следственно и просвещением. Екатерина знала всё это, и имела свои виды (XI, 16–17).

Тезис этот будет развит в 1825 году в пушкинском отклике на предисловие французского критика Лемонте к переводу басен Крылова:

Как материал словесности, язык славяно-русской имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе заемлет он гибкость и правильность. Простонародное наречие необходимо должно было отделиться

¹⁵ «На празднике жизни, едва начавшемся, всего на одно мгновение мои губы прижались к кубку, все еще полному в моих руках» (фр.). По поводу этих строк В. В. Набоков замечает, что они «приходят на ум» в связи с итоговой строфой романа (Набоков В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб., 1998. С. 599).

¹⁶ Пчела // Памятники литературы Древней Руси. XIII век. М., 1981. С. 516.

от книжного, но впоследствии они сблизилась, *и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей.*

Г. Лемонте напрасно думает, что владычество татар оставило ржавчину на русском языке. (...) Их нашествие не оставило никаких следов в языке образованных китайцев, и предки наши, в течение двух веков стона под татарским игом, на языке родном молились русскому богу, проклинали грозных властителей и передавали друг другу свои сетования (XI, 31–32).

Забегая вперед, отметим одну любопытную выписку Пушкина, сделанную в 1836 году из «Изборника Святослава», которая показывает, насколько отчетливо понимал Пушкин постепенно преодолеваемую трудность выработки (под влиянием древнегреческих гибкости и правильности) древнерусского литературного языка. Приведя по «Изборнику» перечень тропов и фигур (общим числом 25: «инословие», «превод» (метафора), «непотребие», «приятие» и пр.) и данное здесь определение первого из них, Пушкин замечает:

Далее следуют подобные сему определения и прочих вышеисчисленных наименований, но не довольно понятные для читателя, может быть, и потому, что не довольно понимаемы были предметами составителем или переводчиком, издателями русской энциклопедии XI века (XII, 44).

С другой стороны, следует правильно оценить часто цитируемое пушкинское замечание, высказанное им в 1830 году:

Разговорный язык простого народа (не читающего иностр.(анных) книг и, слава богу, не выражающ(его), как мы, своих мыслей на фр. (анцузском) языке) достоин также глубочайших исследований. Альфиери изучал итальянский язык на флорентийском базаре: не худо нам иногда прислушиваться к московским просвириям. Они говорят удивительно чистым и правильным языком (XI, 148–149).

Случайно ли здесь упоминаются торговки просвирами, отчасти приобщенные к среде духовенства простолюдинки? Думается, что не случайно: это своеобразная иллюстрация процитированного выше пушкинского тезиса: «Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного, но впоследствии они сблизилась, *и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей.*»

Точность пушкинских определений необходимо соблюдать и в данной, подчеркнутой самим поэтом сентенции: современный ему народный язык (чистый и правильный), давно уже органически усвоивший огромный пласт древней культуры, он считает лишь стихией, требовавшей от писателя Нового времени сознательных и немалых усилий для выражения новых идей.

В этом, конечно же, полемически заостренном пушкинском высказывании открывается другая сторона вопроса, наиболее для Пушкина в 1820-е годы актуальная, связанная с осознанной необходимостью, оставаясь русским писателем, «в просвещении стать с веком наравне».

Но идеи европейского просвещения проверялись в творчестве Пушкина нравственным опытом народа, в художественной форме запечатлевшимся прежде всего в фольклоре, как это осознавалось Пушкиным в ту пору. Показательно, однако, что нравственное начало, а не только приметы национально-самобытного исторического колорита Пушкин ищет и в летописях, работая над трагедией «Борис Годунов». Именно потому важнейшую роль в идейной концепции пьесы занимает на первый взгляд эпизодический персонаж – летописец Пимен. «Характер Пимена, – замечал Пушкин, – не есть мое изобретение. В нем собрал я черты, пленившие меня в наших старых летописях...» (XI, 68).

Первый пушкинский план статьи о русской литературе относится к 1829 году:

Летописи, сказки, песни, пословицы. Послания царские. Песнь о плку, Побоище Мамаево. Царствование Петра. Царств.(ование) *Елисаветы*, Екатерины – Александра. Влияние французской поэзии (XII, 208).

В черновом наброске статьи 1830 года Пушкин скажет:

Приступая к изучению нашей словесности, мы хотели бы обратиться назад и взглянуть с любопытством и благоговением на ее старинные памятники, сравнить их с этою бездной поэм, романсов, ироических и любовных, простодушных и сатирических, коими наводнены европейские литерат.(уры) средних веков. / Нам приятно было бы наблюдать историю нашего народа в сих первоначальных играх разума, творческого духа, сравнить влияние завоевания скандинавов с завоеванием мавров. (...) Но, к сожалению – старинной словесности у нас не существует. За нами темная степь – и на ней возвышается единственный памятник: *Песнь о Полку Игореве*. / Словесность наша явилась вдруг в 18 столетии, подобно русскому дворянству, без предков и родословной (XI, 184).

В статье 1834 года, также не законченной, но имеющей характерное название «О ничтожестве литературы русской», представление об уникальности «Слова» для древнего периода русской словесности не изменилось:

Европа наводнена была невероятным множеством поэм, легенд, сатир, романсов, мистерий и проч.; но старинные наши архивы и вивлиофики, кроме летописей, не представляют почти никакой пищи любопытству изыскателей. Несколько сказок и песен, беспрестанно поновляемых изустным преданием, сохранили полуизглаженные черты народности, и *Слово о Полку Игореве* возвышается уединенным памятником в пустыне нашей древней словесности (XI, 268).

В черновых вариантах этой статьи сохранилось объяснение причин «ничтожества русской литературы»:

Петр Первый был нетерпелив. Став главою *новых идей*, он, м.(ожет) б.(ыть), дал слишком крутой оборот огромным колесам государства. В общем презрении ко всему старому народному (была) включена и народная поэзия, столь живо проявившаяся в грустных песнях, в сказках (нелепых) и в летописях. / Рождалась новая словесность, отголосок новообразованного общества (XI, 501).

Впрочем, более подробно обозрение начального периода русской литературы намечено Пушкиным в том же году в виде плана:

Язык. Влияние греческ.(ое) / Памятники его / Литература собств.(енно)

Причины

1) ее бедности

2) ее отчуждения от Европы

3) уничтожения или ничтожности влияния скандинавского

Сказки, пословицы: доказательство сближения с Европою.

Песнь о Плку Игор.(еве)

Песнь о побоище Мамаевом.

Сказки, мистерии

Песни (XII, 208).

Отчасти пункты этого плана проясняются приведенными выше пушкинскими высказываниями более ранних годов. Отметим еще пушкинские соображения из его отклика на «Историю русского народа» Н. А. Полевого, объясняющие во многом тезис о «бедности русской литературы»:

Гизо объяснил одно из событий христианской истории: *европейское просвещение*. Он обретает его зародыш, описывает постепенное развитие и, отклоняя всё отдаленное, всё постороннее, *случайное*, доводит его до нас сквозь темные, кровавые, мятежные и наконец (?) рассветающие века. Вы поняли великое достоинство фр.(анцузского) историка. Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европою; что история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада (XI, 127).

В данном случае выражение «никогда ничего не имела» подразумевает древний период русской истории, которому были посвящены обозреваемые тома «Истории» Полевого. Что же касается пушкинской «особой формулы» русской истории, то она была отчетливо намечена в знаменитом письме к П. Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 года, в отклике на пессимистическую оценку русской истории, изложенную в «Философическом письме»:

Нет сомнения что Схизма (разделение церквей) отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясли, но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех. (...) У греков мы взяли евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. (...) Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы – разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие – печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, – как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история! (...) и (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы? (XVI, 392–393; подлинник по-фр.).

Таковы основные наброски пушкинской концепции древнерусской литературы, ее своеобразия и относительной бедности. Концепция эта никогда не была изложена им в полном виде, дошла до нас в виде фрагментарных и полемически заостренных суждений, а также едва намеченных (крайне общих) планов. Однако незаконченность пушкинских размышлений – это знак его собственной неудовлетворенности ими, а стало быть, невыработанности окончательных решений. И главное, теоретические пушкинские выкладки ни в коей мере не отражали

богатейшей творческой практики Пушкина, которая впитывала влияние древнерусской литературы в гораздо более разнообразных формах и в большем объеме, нежели это запечатлено в его историко-литературных размышлениях.

2

Остановимся на одном из таких фактов. Постоянно возрождавшимся в пушкинском творчестве замыслом (по количеству разновременных попыток не сравнимым ни с одним другим) стал замысел «богатырской поэмы» на темы сказки о Бове-королевиче, известной ему с самого раннего детства, как это отражено в лицейском стихотворении (отрывке из поэмы?) «Сон» (1816):

Ах! умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеянье,
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шепотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы...
Терялся я в порыве сладких дум;
В глуши лесной, средь муромских пустыней
Встречал лихих Полканов и Добрыней,
И в вымыслах носился юный ум... (1,189).¹⁷

Впервые к этому сюжету Пушкин обратился еще в 1814 году, и тогда данный замысел был одной из первых попыток юного поэта перейти от малых стихотворных форм к жанру поэмы, продолжив традиции Радищева («Бова»), с его ориентацией на вольтеровскую «Орлеанскую девственницу», с одной стороны, и Карамзина – с другой («Илья Муромец»). Тем самым Пушкин откликнулся на зрелую в русской литературе начала XIX века задачу создания народно-поэтической эпопеи. Впоследствии он невысоко оценивал поэму Радищева:

Первая песнь *Бовы* имеет также достоинство. Характер Бовы обрисован оригинально, и разговор его с Каргою забавен. Жаль, что в *Бове*{...} нет и тени народности, необходимой в творениях такого рода; но Радищев думал подражать Вольтеру, потому что он вечно кому-нибудь да подражал (XII, 35).

Это замечание в некоторой степени объясняет новое обращение Пушкина к сюжету о Бове в 1822 году, когда в его творчестве начинает проследиваться сознательное стремление к постижению народно-поэтической образности, существенно обогатившей его поэзию. Однако вскоре в русской печати появились сведения об иноземном происхождении сюжета о Бове. И. М. Снегирев в 1822 году заметит, что «многие из древних сказок, как, например, Еруслан, Бова, Петр Золотые Ключи, взяты с итальянского или арабского»,¹⁸ а спустя два года повторит:

¹⁷ «Все перечисленные здесь персонажи детских „ужасов“ и „вымыслов“, – констатирует В. А. Кошелев, – герои „Сказки о славном и сильном богатыре Бове-королевиче и о прекрасной королевно Дружневне и о смерти отца его Гвидона“. Именно здесь, в многочисленных рукописных, печатных и устных вариантах лубочной повести, встречаются и Бова, и „нехорошее мертвецкое баловство“, и Полкан (получеловек-полуконь), и Добрыня (так в некоторых вариантах именовался слуга Бовы: „Верный Личарда“») (Кошелев В. А. Бова Королевич II Кошелев В. А. Пушкин: история и предание. СПб., 2000. С. 110). По предположению В. Я. Проппа, здесь отражены сюжеты, распространенные в лубочной литературе (см.: Пропп В. Я. Мотивы лубочных повестей в стихотворении А. С. Пушкина «Сон» 1816 г.//Тр. отд. древнерусской литературы. Т. 14. М.; Л., 1958. С. 536–537).

¹⁸ Снегирев И. Русская народная галерея, или лубочные картинки//Отечественные записки. 1822. № 30. С. 92–93.

«Еруслан Лазаревич, Бова-королевич, Петр Золотые Ключи – романы нашей черни – гости заезжие, у нас обрусевшие».¹⁹ Позднее Пушкин узнает о конкретном итальянском источнике сказки о Бове – о рыцарской поэме «Буово из Антоны», о которой он упоминает в письме к П. А. Вяземскому от 25 мая 1825 года (см. XIII, 184), и в рабочей тетради ПД № 832 делает конспект этой «самой древней из романтических поэм» по «Истории итальянской литературы» П. Л. Женгене:

Самой старой из романтических поэм является «Буово из Антоны», где говорится о больших битвах, в коих он участвовал, и деяниях, им совершенных, вместе с его смертью и проч. в рифмованных октавах. 1849. Венеция.

Герой ее – Бёв из Антоны, потомок Константина и прадед Мил она Англ антского, отца Роланда. Брандония, мать Бёва, заставляет Дюдона Майенцкого убить мужа ее, Бидона, герцога Антоны, и выходит за Дюдона замуж. Молодой Бёв бежит, руководимый Синнибальдом, мужем своей кормилицы, и сыном последнего – Тьерри. Она падает (с лошади), остальное как в русской сказке...²⁰

Вслед за конспектом Пушкин в конце июня 1825 года набрасывает план нового своего замысла о Бове и делает набросок семи начальных строк поэмы.²¹

Внимание Пушкина к сказке о Бове проявилось в различных его произведениях. В черновых набросках второй главы «Евгения Онегина» он вспоминает няню Ольги, Фадеевну, которая «Помилуй мя читать учила, / Гуляла с нею, средь ночей / Бову рассказывала (ей)» (VI, 288); в сне Татьяны пользуется лексикой народной сказки: «Лай, хохот, пенье, свист и хлоп, / Людская молвь и конский топ!» (VI, 104); а позже, в возражениях на критику М. А. Дмитриева, пояснит эту строку: «Выражение сказочное (Бова Королевич)», заметив попутно: «Читайте простонародные сказки, молодые писатели – чтоб видеть свойства русского языка» (XI, 72). В «Опровержениях на критики» (1830) и публикуя роман отдельным изданием 1833 года, в специальном примечании Пушкин вновь повторит:

В журналах осуждали слова: *хлоп*, *молвь* и *топ* как неудачное нововведение. Слова сии коренные русские. «Вышел Бова из шатра прохладиться и услышал в чистом поле людскую молвь и конский топ» (VI, 193).

В романе о царском арапе (1829) мы находим любопытное упоминание сказки о Бове, открывающее некоторое подобие злоключений героя с судьбой знаменитого предка поэта А. П. Ганнибала:

Он роду не простого, – сказал Гаврила Афанасьевич, – он сын арапского салтана. Басурмане взяли его в плен и продали в Цареграде, а наш посланник выручил и подарил его царю. Старший брат арапа приезжал в Россию с знатным выкупом и...

– Батюшка, Гаврила Афанасьевич, – прервала старушка, – слышали мы сказку про Бову Королевича да Ер.(услана) Лаз.(аревича). Расскажи-тко нам лучше, как отвечал ты государю на его сватание (VIII, 25).

¹⁹ Снегирев И. О простонародных изображениях//Труды общества любителей российской словесности при Московском университете. Ч. 4. 1824. С. 141.

²⁰ Рукою Пушкина. 2-е изд. М., 1997. С. 459 (пер. с фр.).

²¹ Обоснование такой датировки см. в ст.: Фомичев С. А. Рабочая тетрадь Пушкина. ПД № 832 (Из текстологических наблюдений) // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 12. Л., 1986. С. 241.

К концу 1820-х годов, по-видимому, относится разговор о «Бове» Пушкина с А. С. Хомяковым. Последний в 1857 году вспоминал:

Кстати о филологии: скажу слово о происхождении одной из сказок, ходящих в народной словесности. Когда Пушкин первый (если не ошибаюсь) сказал, что «Бова-Короле-вич» переведен с итальянского языка (что совершенно справедливо) и есть сказка итальянская, я встретился с ним и доказал ему, что хотя сказка перешла к нам из Италии, но в Италию перешла она из Англии, своей родины. Он хотел это напечатать, но, кажется, забыл; с тех пор не знаю, сказал ли кто-нибудь то же самое.²²

Последнее обращение Пушкина к сюжету о Бове относится к 1834 году, когда он на листке с планом «Капитанской дочки» набрасывает и план сказки о Бове, перечень действующих лиц и две строки:

Красным девицам в заба(ву)
Добрым молодцам на славу (XVII, 32).

Репутация сказки о Бове-королевиче как недостойного сюжета для высокой литературы была настолько сильной к концу XVIII века, что обращение Радищева к этому сюжету было своеобразным вызовом. Впрочем, столь же вызывающе в «Фелице» Бову упоминал Г. Р. Державин:

Полкана и Бову читаю,
За Библией, зевая, сплю.²³

Едва ли не эти задорные строки вспомнит и переведет в высокий план Пушкин, когда в стихотворном обращении к Гнедичу (1832), характеризуя «прямого поэта», скажет:

То Рим его зовет, то гордый Илион,
То скалы старца Оссиана,
И с дивной легкостью меж тем летает он
Во след Бовы иль Еруслана (III, 286).

И все же настойчивое обращение к сюжету о Бове-королевиче, на наш взгляд, в творчестве Пушкина имеет более важный смысл, чем просто вызов «изнеженным вкусам».

Пушкин в 1820-х годах рассматривал средневековую русскую культуру под знаком «отчуждения от Европы» и первые приметы европеизма русской литературы видел в двух жанрах («Сказки, пословицы: доказательство сблизения с Европою»). Что касается пословиц, то следы прямого заимствования в них Пушкин отмечал неоднократно:

«Бодливой корове бог рог не дает» – пословица латинская»; «Ворон ворону глаза не выклюнет» – шотландская пословица, приведенная В. Скоттом в Woodstock.²⁴

Но почему он в этой связи упоминал и сказки?

²² Хомяков А. С. Поли. собр. соч. Т. 8. М., 1904. С. 40 (второй пагинации). За указание этого факта я благодарен В. Э. Вацуру. Что же касается английского происхождения поэмы о Буово, то, вероятно, это не было совершенной новостью для Пушкина. В конце конспекта из Женгене им отмечено: «Что такое Антона? Роман Реали ди Франчия помещает ее в Англии, близ Лондона, и говорит, что она была основана Бове, предком Бовы (это вероятно)» (Рукою Пушкина. С. 460).

²³ Державин Г. Р. Стихотворения. Л., 1957. С. 100.

²⁴ Рукою Пушкина. С. 305.

Ответ на это мы находим в его выписке из Женгене, из которой следовало, что любимая им с детства сказка о Бове-королевиче, широко распространенная и в древней рукописной, и в лубочной, и в устной традиции, восходила, оказывается, к «самой древней из романтических поэм» «Буово д'Антон».

Любопытно, что историческое чутье Пушкина в данном отношении проявляется особенно остро. В набросках к «Истории Петра» он замечал:

Просвещение развивается со времен Бориса (нравы дикие, свирепые);
правительство впереди народа; любит иноземцев и печется о науках.
Духовенство. Его критический дух (X, 291).

Пушкинский же план истории древнерусской литературы отчасти корректировал это слишком прямолинейное утверждение. В самом деле, современное обследование наиболее ранних записей сказки о Бове-королевиче в древнерусской книжности (о чем Пушкин знать не мог, но, как видим, догадывался) удостоверяет, что данный сюжет пришел на Русь в конце XVI – начале XVII века²⁵ и был действительно одним из первых в ряду подобных (о Еруслане Лазаревиче, Петре Златые Ключи, Василии Златовласом и т. п.). Именно это «низовое» свидетельство «сближения с Европой» привлекало, на наш взгляд, пристальное внимание Пушкина к сказке о Бове-королевиче в зрелый период его творчества и порождало новые попытки литературно обработать данный сюжет. Необыкновенно примечательным было в нем и свидетельство секуляризации древнерусской литературы, до того развивавшейся только в среде просвещенного духовенства, и органическое усвоение народной культурой авантюрно-рыцарской повести – настолько, что язык ее в русской традиции стал образцовым.

С точки зрения личной творческой биографии для Пушкина знакомство с историей данного сюжета тоже было знаменательным. Оказывается, уже в лицейскую пору (еще не предполагая сложной миграции сюжета) он интуитивно потянулся к нему, а позже заслужил репутацию первого русского поэта (победителя Жуковского), продолжив традиции авантюрно-рыцарского повествования в поэме «Руслан и Людмила» (во многом используя здесь мотивы другой народной книги – об Еруслане Лазаревиче).²⁶ Не случайно в 1822 году, уже найдя столь продуктивный впоследствии жанр своей «южной поэмы» в «Кавказском пленнике», Пушкин попытался, преодолевая байроновское влияние, снова обратиться к принципам авантюрно-рыцарского повествования в замысле поэмы о Мстиславе.²⁷ Нетрудно заметить, что, строя сюжет по той же схеме, Пушкин выдвигает в главные герои (в отличие от «Руслана и Людмилы») известного по летописям и упоминанию в «Слове о полку Игореве» («храбрый Мстислав, иже зареза Редедю пред полку Касожьскими») легендарного тмутараканского князя, давая ему в соратники былинного Илью Муромца и рисуя жизнь (по позднему определению Пушкина), «полную кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов». Поэма о Мстиславе, подробно (с необычной для Пушкина тщательностью) разработанная в плане, тем не менее не была даже начата – может быть, потому, что в это время он познакомился с замечанием Снегирева в «Отечественных записках» об иноземном происхождении сказки о Бове-королевиче, что, вероятно, не позволило в ту пору поэту «реконструировать» рыцарскую поэму о реально-историческом русском герое по образцу «Бовы».

Впоследствии же, как мы видели, сюжет о Бове стал интересовать Пушкина не в качестве образца, а сам по себе, как принципиально важный в концепции Пушкина памятник старой русской книжности. Законченное произведение о Бове из-под пера Пушкина все же не появилось, дело ограничилось только планами и первыми стихотворными набросками. Однако нельзя не увидеть, что жанр сказки в творчестве Пушкина тяготеет именно к авантюрно-рыцар-

²⁵ См.: Кузьмина В. Д. Рыцарский роман на Руси. М., 1964. С. 17–24.

²⁶ См.: Кошмев В. А. Первая книга Пушкина. Томск, 1997. С. 120–136.

²⁷ См.: Кошелев В. А. О замысле Пушкина («Мстислав») // Русская литература. 2003. № 1. С. 86–97.

скому роману, а не к сказке в точном фольклорном значении. Оттуда идут привычные у Пушкина сказочные имена: Салтан, Гвидон, Елисей, Дадон. Становится понятным с такой точки зрения и свободное обращение Пушкина в «сказках» – при их образцовом народном языке и обильном использовании мотивов, почерпнутых именно в русском фольклоре, – к зарубежным сюжетам (из Гримма, из В. Ирвинга).

Определяя такую литературную генеалогию пушкинских «сказок», мы, разумеется, отнюдь не преуменьшаем их литературное значение. Ссылаемся в данном случае на мнение В. Я. Проппа:

Тесно связана со сказкой, но все же совершенно иной жанр представляет собой народная книга. (...) Народная книга была и у нас, хотя термин этот для русских материалов не привился. Со времен Пыпина установился термин «повесть». Выросшая на почве фольклора народная книга перерастает в буржуазную повесть и дает начало роману. Источники ее чрезвычайно разнообразны, как разнообразны и сами народные книги. Они часто представляют собой продукт международных фольклорных связей и влияний. Так, типичными народными книгами являются «Еруслан Лазаревич», «БоваКоролевич», «Мелюзина», «Петр Золотые ключи» и др. Они сказочного происхождения, восточного и западного... Народные книги выработали специфический для них язык, обладающий прекрасными литературными достоинствами, особый стиль, особые литературные приемы. (...) Народные книги были у нас чрезвычайно популярны. Отождествление народной книги со сказкой – методологическая ошибка. Но такой же методологической ошибкой будет и изучение народной книги вне сказки. Это смежные, родственные и перекрещивающиеся жанры, обладающие, однако, каждый своей внутренней спецификой, исторической судьбой и формой обращения.²⁸

Вот здесь мы и подошли к существу дела. Правильное установление литературной традиции по отношению к «сказкам» Пушкина важно в методологическом отношении. Иначе возникает недоумение, характерное, например, для В. Г. Белинского:

Сказки Пушкина: «О царе Салтане», «О мертвой царевне и о семи богатырях», «О золотом петушке», «О купце Кузьме Остолопе и о работнике его Балде» были плодом довольно ложного стремления к народности. Народные сказки хороши и интересны так, как создала их фантазия народа, без перемен, украшений и переделок.²⁹

Едва ли не хуже, чем эта, так сказать, добросовестная ошибочная оценка, иные методологически неверные попытки судить о поэтике сказок Пушкина впрямую по фольклорным образцам, без учета посредствующей роли здесь древнерусской книжности и народной книги, с сознательной ориентацией на которые и писал Пушкин свои «сказки».

3

Внимательное изучение пушкинского творчества показывает, что творческое использование им традиций древнерусской литературы было гораздо более богатым и разнообразным, нежели это можно было ожидать, обращаясь к его историко-литературным штудиям, в которых «бедность» древней русской словесности отмечалась постоянно. Выясняется, что культура

²⁸ Пропп В. Я. Русская сказка. Л., 1984. С. 53–54.

²⁹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 7. М., 1955. С. 576.

Древней Руси в художественной практике Пушкина была достаточно мощным фактором, оказавшим свое влияние на родоначальника новой русской литературы.

Следует только с самого начала подчеркнуть, что, большой самобытный художник, Пушкин всегда обращался к опыту иных художественных систем творчески, решая насущные для себя идейно-эстетические задачи. Этот тезис мы ниже попытаемся подтвердить на примере обращения Пушкина к агиографическим жанрам.

В третьем томе пушкинского журнала «Современник» была напечатана рецензия на книгу Д. А. Эрстова и М. Л. Яковлева «Словарь исторический о святых, прославленных в российской церкви, и о некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых» (СПб., 1836). Уместен вопрос, почему из нескольких десятков новых книг, список которых помещен в третьем томе, Пушкин счел необходимым отрецензировать только две, в том числе и «Словарь о святых». Думается, что актуальный публицистический смысл данного отклика Пушкина становится ясным в сопоставлении со второй рецензией, помещенной в том же томе: она была посвящена книге Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека», и главным здесь было воспоминание об итальянском карбонарии: «Сильвио Пеллико десять лет провел в разных темницах, и, получив свободу, издал свои записки» (XII, 99). Третий том «Современника» готовился к изданию летом 1836 года, и Пушкин намеревался в нем хотя бы намеком (прямые упоминания были невозможны) отметить десятилетие со дня суда и казни декабристов. Тема гонимых и осужденных была намечена в подготовленных для этого журнального тома статье «Александр Радищев» и так называемом каменноостровском лирическом цикле. Убедившись в невозможности опубликовать их, Пушкин в последнем разделе выпуска («Новые книги») решил напомнить читателям о страдальцах. Так появилась, как нам представляется, рецензия на «Словарь о святых».

Важно, однако, и другое. Пушкинская рецензия обнаруживает его достаточно глубокие знания в русской агиографии. Показательная деталь: в рецензии упоминается «Опыт исторического словаря о всех в истинной православной вере святою непорочною жизнью прославившихся святых мужах» как напечатанный Новиковым. Однако в титульных данных этой книги отсутствует указание на издателя. Пушкин же твердо знает его имя. Обнаруживается и то, что «Словарем» Эрстова и Яковлева Пушкин пользовался еще в рукописи. В том же третьем томе «Современника» помещена антикритика на статью Броневского об «Истории Пугачевского бунта», где Пушкин, в частности, отмечает:

Положившись на показания рукописного Исторического словаря, составленного учеными и трудолюбивыми издателями Словаря о святых и угодниках, я поверил, что некрасовцы перешли с Кубани на Дунай во время походов графа Миниха (IX, 381).

Интерес к «Словарю» Эрстова и Яковлева для Пушкина не случаен. На протяжении всей его жизни «Четьи Минеи» и «Пролог» были его постоянным чтением, еще с лицейских времен, когда он начал работать над поэмой «Монах», действие которой протекает в монастыре, основанном Саввой Звенигородским.³⁰

И впоследствии этот святой угодник интересовал Пушкина. В бумагах Пушкина сохранилась переложение («поновление», как выражались в старину) на русский язык текста из «Четьих Минеи» Димитрия Ростовского (сделанное, вероятно, уже на рубеже 1820—1830-х годов) о преподобном Савве игумене:

Преподобный Отец наш Савва от юности своей Христа возлюбил и мир возненавидел и пришел к преподобному Сергию приял Ангельский образ и

³⁰ «Ученик и собеседник св. Сергия, Савва пришел уединиться на живописных высотах Москвы-реки, и сын Донского Юрий упросил его основать обитель на Сторожевской горе, где стояла стража от набегов. Иноки заменили воинов...» (Муравьев А. Н. Путешествие по св. местам русским. Ч. 1. СПб., 1846. С. 171).

стал подвизаться угождая Богу постом бдением, молитвами, смиренномудрием и всеми добродетельми желая небесная блага приять от Господа. Многие искушения претерпел он от бесов, но победил их с помощью вышнего и над страстями воцарился. Тогда по наставлению учителя своего великого Сергия, отошел он от обители святыя Троицы и поселился в пустыне на горе называемой Сторожи, в верху Москвы реки, в расстоянии одного поприща от Звенигорода в и сорока от града Москвы. Там святой иночествовал в безмолвии, терпя морозы и тяготу вара дневнаго. – Услыша о добродетельном житии его, многие иноки и люди мирские от различных мест начали к нему приходить, дабы жить при нем и от него пользоваться. (...) Честные его мощи и до нынешнего дня многия и различныя исцеления источают приходящим с верою...³¹

К житиям святых Пушкин всерьез обратился в связи с работой над трагедией из эпохи Смутного времени.

Из воспоминаний И. И. Пущина известно, например, что в январе 1825 года на рабочем столе Пушкина в Михайловском лежали «Четы Миней». 17 августа 1825 года Пушкин писал из Михайловского Жуковскому:

Одна просьба, моя прелесть, не лъзя ли мне доставить или жизнь *Железного Колпака*, или житие какого-нибудь *юродивого*. Я напрасно искал Василия Блаженного в Чет.(ых) М.(инях) – а мне бы очень нужно (XIII, 211–212).

Одним из основных, хотя и внесценических героев трагедии «Борис Годунов» предстает царевич Димитрий. О значении этого образа в художественной системе трагедии очень точно сказал И. Киреевский:

Тень умерщвленного Димитрия царствует в трагедии с начала до конца, управляет ходом всех событий, служит связью всем лицам и сценам, расставляет в одну перспективу все отдельные группы и различным краскам дает один общий тон, один кровавый оттенок. Доказывать это значило бы переписать всю трагедию...³²

Воссоздавая образ Димитрия, Пушкин во многом опирался на агиографию. Так, в сцену «Царская дума» в пересказе патриарха включено описание чуда, неперемного элемента житийной литературы:

В вечерний час ко мне пришел однажды
Простой пастух, уже маститый старец,
И чудную поведал он мне тайну.
«В младых летах, сказал он, я ослеп
И с той поры не знал ни дня, ни ночи
До старости; напрасно я лечился
И зелием и тайным нашептанием (...)»
А снилися мне только звуки. Раз
В глубоком сне, я слышу, детский голос
Мне говорит: встань, дедушка, поди
Ты в Углич-град, в собор Преображенья;

³¹ Рукою Пушкина. С. 87–88.

³² Европеец. 1832. Ч. 1. С. 111.

Там помолись ты над моей могилой,
Бог милостив – и я тебя прошу.
– но кто же ты? спросил я детский голос.
– Царевич я Димитрий (...)
Я тихую молитву сотворил,
Глаза мои прозрели; я увидел
И божий свет, и внука, и могилку».
Вот, государь, что мне поведал старец (VII, 70–71).

Особый интерес Пушкина при его работе над трагедией вызвали и сведения, почерпнутые в «Истории государства Российского» Карамзина, о юродивых Василии Блаженном, Николе Псковском, Иоанне Юродивом, прозванном Большим Колпаком и Водоносцем. Последний из них выведен в одной из самых пронзительных сцен трагедии, где он дает ответ Борису Годунову: «Нельзя молиться за царя-ирода, Богородица не велит». О значимости этого образа свидетельствует полужутливое замечание Пушкина в письме к Вяземскому:

Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию – навряд, мой милый. Хоть она и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат! (XIII, 240).

Выше уже упоминалось, что интерес к житийной литературе у Пушкина усилился в 1830-е годы, в то время, когда он все настойчивее обращается к прозе. Нам представляется, что стиль простодушного агиографического повествования своеобразно отразился в предисловии к «Повестям покойного Ивана Петровича Белкина», где описывается жизнь Белкина. Здесь угадывается ряд характерных деталей житийной топики: рождение героя «от честных и благородных родителей», обучение у «деревенского дьячка», черты добродушия и милосердия, житейской непрактичности. Ср., например:

Иван Петрович вел жизнь самую умеренную, избегал всякого рода излишеств; никогда не случилось мне видеть его навеселе (что в краю нашем за неслыханное чудо почестья может); к женскому же полу имел он великую склонность, но стыдливость была в нем истинно девическая (VIII, 61).

О том, что Пушкин в этом рассказе в действительности опирался на житийный стиль, свидетельствует, как нам кажется, следующее. Как известно, предисловие к «Повестям Белкина» далось Пушкину не сразу – в течение всего лета 1831 года, когда книга проходила цензуру, Плетнев, следивший за изданием, тревожно запрашивал Пушкина, когда же он пришлет предисловие. Вероятно, сперва Пушкин предполагал использовать в качестве такового начало «Истории села Горюхина», где излагалась автобиография Белкина. Но «летописный» стиль³³ этого произведения мало соответствовал общему характеру повестей. В конечном счете Пушкин излагает биографию героя со слов иного лица, ненарадовского помещика. Естественным было в этом случае, отказавшись от «летописного» стиля, обратиться к «житийному». Важно подчеркнуть, что в данном случае мы имеем дело вовсе не с травестийностью, не с пародией, а скорее со стилизацией, однако чуть ироничной. Влияние летописного стиля на становление повествовательной манеры Пушкина-прозаика уже отмечалось в литературе. «В понимании Пушкина, – отмечал академик В. В. Виноградов, – исторический стиль близок к простой „летописной“ записи основных и наиболее характерных событий или к скупым и лаконичным

³³ Пародийность такого стиля целила в «Историю русского народа» И. А. Полевого, в свою очередь пытавшегося дискредитировать «Историю государства Российского» И. М. Карамзина.

наброскам дневника, хроники, которые являются как бы экстрактом из множества наблюдений, как бы сгущенным отражением широкой картины³⁴.

Очевидно, столь же важны были для него и агиографические жанры.

Агиографическая литература приобретает для Пушкина особое значение в последние годы. В это время в его лирике, по преимуществу медитативной, самоуглубленной, исповедальной, складывается образ лирического героя – странника, пустынноика (см., например, стихотворения «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит», «Странник», «Вновь я посетил», «Родрик», «Из Пиндемонти», «Отцы пустынноики и жены непорочны», «Когда за городом, задумчив, я брожу»). Именно в это время, как отмечалось выше, он интересуется легендами об Алексие, человеке Божьем. Поэтому и рецензия на «Словарь о святых» в пушкинском «Современнике» была – при всем ее публицистическом назначении в общем контексте третьего тома журнала – еще и закономерным свидетельством неиссякаемого внимания Пушкина к агиографической литературе.

Пушкин обычно представляется в качестве родоначальника новой русской литературы и выразителем послепетровской культуры, что, как показано выше, было отражено и в его собственных набросках о «бедности» древнерусской словесности. Но он, конечно, знал гораздо больше памятников древнерусской письменности, нежели это отмечено в его планах истории русской литературы 1829 и 1834 годов, хотя он не всегда осознавал их в качестве художественных произведений.

Так он никогда не считал «изящной словесностью» агиографические жанры, совершенно не упоминал их. Это не должно нас удивлять. Даже современный исследователь русской агиографии констатирует:

Жития как церковно-служебные произведения достаточно широко изучались историками церкви; немало посвящено работ житиям как историческим источникам. Но жития прежде всего – произведения древнерусской литературы, а как памятники литературы они изучены менее всего.³⁵

Тем не менее, не осознавая теоретически, Пушкин практически в своем творчестве, как показывают изложенные выше наблюдения, постоянно обращался к традициям древнерусской литературы.

4

Выше отмечалось, что весь период древнерусской литературы Пушкин в теоретических своих работах воспринимал как более или менее однородный, сохранявший свои традиционные формы неизменными на протяжении нескольких веков. Это и заставляло его подчеркивать «бедность» древнерусской словесности.

Однако, как нам представляется, обратившись в последние годы своей жизни к исследованию выдающегося памятника русской культуры – «Слова о полку Игореве», Пушкин впервые ощутил, какие сложные процессы происходили в недрах этой культуры, как с самых первых веков своего существования русская литература была неоднородна и немыслима без своеобразной литературной борьбы, в которой выражался поступательный ход этой литературы, отмеченной в конце XII века высочайшим шедевром.

Несколько упоминаний Пушкиным «Слова о полку Игореве», ряд свидетельств современников об интересе поэта к этому памятнику, маргиналии и глоссы Пушкина на переводах «Слова» Жуковского и Вельтмана, заметки и начало статьи о «Слове», обнаруженные в

³⁴ Виноградов В. В. Стиль Пушкина. М., 1999. С. 590.

³⁵ Дмитриев Л. А. Житийные повести русского Севера как памятники литературы XIII–XVII вв. Л., 1973. С. 7.

бумагах Пушкина, породили довольно большую литературу, пик которой падает на вторую половину 1930-х годов (Н. О. Лернер, М. А. Цявловский, Н. К. Козмин, Н. К. Гудзий, Я. И. Ясинский, позже – И. А. Новиков, Ф. Я. Прийма). Проблема изучалась как пушкинистами, так и специалистами по древнерусской литературе и ввиду малочисленности материалов оказалась вскоре исчерпанной. Это, казалось бы, свидетельствует о возможности лишь отдельных уточнений уже сделанных наблюдений и выводов, так как уповать на обнаружение каких-либо новых значительных материалов, свидетельствующих о восприятии Пушкиным выдающегося памятника древнерусской литературы, очевидно, не приходится.

Между тем, как это ни странно, само творчество Пушкина, тот контекст, в котором и следует рассматривать занятия Пушкина «Словом», почти не привлекался к изучению данной проблемы.

И это при том, что в критической литературе существует тенденция, на наш взгляд, неоправданного преувеличения якобы постоянного интереса Пушкина к «Слову о полку Игореве» на протяжении всего его творчества, начиная с лицейских лет. Такой интерес обосновывается путем нехитрой презумпции: Пушкин не мог не интересоваться «Словом». Не находя прямых подтверждений этому тезису, приверженцы такого взгляда идут по пути выявления реминисценций из «Слова» в произведениях Пушкина.

На первый взгляд, подобный метод поисков непреходящего влияния выдающегося памятника древнерусской письменности на творчество Пушкина (пусть даже и без четкого различения прямых и опосредованных заимствований из «Слова») служит углублению наших представлений о художественных исканиях поэта. На самом же деле он ведет к некой суммарной, усредненной и нечеткой оценке восприятия Пушкиным «Слова» без дифференциации пушкинских творческих исканий в разные периоды его деятельности. Несомненно, Пушкин с юности был знаком со «Словом», как несомненно и то, что общая волна воздействия древнего памятника на новую русскую литературу с момента его публикации в 1800 году коснулась и Пушкина. Однако в орбиту его эстетических размышлений это произведение попало не сразу. Первое упоминание Пушкиным «Слова» относится лишь к 1829 году, а проходные определения «Слова» в набросках статей как «уединенного памятника в пустыне нашей словесности» – к 1830 и 1834 годам.

В настоящее время выявлено около двух десятков пушкинских толкований отдельных слов и «темных мест» «Слова», почерпнутых им в разных источниках: в песнях, в летописях, в Библии, в словарях и пр. Все они, по-видимому, тяготеют к последним месяцам жизни Пушкина, когда он, по сути дела, и приступил вплотную к работе по комментированию «Слова».

Более развернутые заметки по разъяснению отдельных выражений памятника и начало статьи о «Слове» относятся уже к январю 1837 года. В те же дни Пушкин критически изучает переводы Вельтмана (по изданию 1833 года) и Жуковского (по копии), в связи с началом работы над указанной статьей, о чем, несомненно, свидетельствует ряд характерных переключек между маргиналиями и глоссами на переводах, предварительными заметками и собственно текстом начатой статьи. Именно к этим последним месяцам относятся и свидетельства современников об интересе Пушкина к «Слову» (А. И. Тургенева, С. П. Шевырева, И. М. Снегирева, М. А. Коркунова, И. П. Сахарова).

Хронологическая локализация пушкинской систематической работы над «Словом» нам представляется чрезвычайно важной.

Если оценивать пушкинскую статью о «Слове» и материалы к ней как итог проходящего через всю сознательную жизнь поэта увлечения, то они – как это и было сказано Я. И. Ясинским – и впрямь могут показаться дилетантскими разысканиями. Другое дело – если это лишь начало серьезной работы Пушкина, оборванной его гибелью. «В наше время, – замечал в 1836 году Пушкин в рецензии на „Словарь о святых“, – главный недостаток, отзывающийся во всех почти ученых произведениях, есть отсутствие труда. Редко случается критике указывать на

плоды долгих изучений и терпеливых разысканий. Что же из того происходит? Наши так называемые *ученые* принуждены заменять существенные достоинства изворотами более или менее удачными: порицанием предшественников, новизною *взглядов*, приноровлением модных понятий к старым давно известным предметам и пр. Таковые средства (которые в некотором смысле можно назвать шарлатанством) не подвигают науки ни на шаг, поселяют *дух сомнения и отрицания* в умах незрелых и слабых, и печалят людей истинно ученых и здравомыслящих (XII, 101)».

Первейшей задачей в изучении «Слова», по мнению Пушкина, являлся достоверный перевод его на современный русский язык. По его убеждению, «первый перевод, в котором участвовали люди истинно ученые, все еще остается лучшим. Прочие толкователи наперерыв затмевали неясные выражения своевольными поправками и догадками, ни на чем не основанными». Общие же пушкинские представления о задачах перевода сформулированы в его статье, которая написана одновременно с заметками о «Слове», – «О Мильтоне и Шатобриановом переводе „Потерянного рая“». Полезно процитировать некоторые положения этой статьи, для того чтобы представить себе цели, которые ставил перед собой Пушкин, приступая к детальному осмыслению «Слова о полку Игореве»:

От переводчиков стали требовать, более верности, и менее щекотливости и усердия к публике – пожелали видеть Данте, Шекспира и Сервантеса в их собственном виде, в их народной одежде. Даже мнение, утвержденное веками и принятое всеми, что переводчик должен стараться передавать дух, а не букву, нашло противников и искусные опровержения. Ныне (пример неслыханный!) первый из фр.(анцузских) писателей переводит Мильтона *слово в слово*, и объявляет, что подстрочный перевод был бы верхом его искусства, если бы только он был возможен! – Таковое смирение во французском писателе, первом мастере своего дела, должно было сильно изумить поборников *исправительных переводов* и вероятно будет иметь большое влияние на словесность... Но удачен ли новый перевод? (...) Подстрочный перевод никогда не может быть верен. Каждый язык имеет свои обороты, свои условленные риторические фигуры, свои усвоенные выражения, которые не могут быть переведены на другой язык соответствующими словами. (...) Если уже русский язык, столь гибкий и мощный в своих оборотах и средствах, столь переимчивый и общежительный в своих отношениях к чужим языкам, не способен к переводу подстрочному, к переложению слово в слово, то каким образом язык французский (...) выдержит таковой опыт, особенно в борьбе с языком Мильтона, сего поэта, всё вместе и изысканного и простодушного, темного, запутанного, выразительного, своенравного, и смелого даже до бессмыслия? (XII, 137,143–144)

Не вызывает сомнения, что все эти соображения имеют прямое отношение к собственным занятиям Пушкина переводом «Слова о полку Игореве». «Исправительный» перевод, уничтожающий «народную одежду» подлинника, и перевод подстрочный кажутся ему двумя крайностями, для него в равной степени неприемлемыми.

О направленности пушкинского перевода «Слова» против современных поэту толкователей памятника сохранилось очень ценное свидетельство А. И. Тургенева в письме к брату от 13 декабря 1836 года:

Я зашел к Пушкину справиться о песне о полку Игореве, коей он готовится критическое издание. (...) Он хочет сделать критическое издание сей песни, в роде Шлецерова Нестора, и показать ошибки Шишкова и других переводчиков и толкователей; но для этого ему нужно дождаться

смерти Шишкова, чтобы преждевременно не уморить его критикою, а других смехом. Три или четыре места в оригинале останутся неясными, но многое прояснится, особливо начало. Он прочел несколько замечаний своих, весьма основательных и остроумных: все основано на знании наречий славянских и языка русского...³⁶

Действительно, в пояснениях А. С. Шишкова, при всех несомненных его заслугах в популяризации «Слова», многое было нелепым и попросту смешным, например:

Как знаменателен здесь глагол «растекался»! Не видим ли мы выходящую из головы Бояна реку мыслей, растекающуюся по всему пространству мира? «Див кличет верху дерева, велит послушати земли незнаеме». (...) Слова сии не могут быть взяты в настоящем их разуме; надлежит, чтоб под оными скрывалось какое-нибудь иносказание – (...) вышесказанные слова должны заключать в себе следующую или подобную мысль: «правительство или верховная власть, пекущаяся о безопасности народной, видя приближение неприятеля, возвещала или слова разглашала, разносила по всем вышеобъясненным странам, даже до Тьмутараканской земли, клича или созывая обитающие в них народы, дабы они стекались, соединялись с половцами»; «О Бояне, соловью стараго времени! абы ты сии полки ущекотал» – Сиречь: есть ли бы ты воинов сих воспел, прославил. Глагол «щекотать» кажется в старину значил «петь» и «говорить много», и особливо приличествовал соловью, как и ниже сего найдем выражение «щекот соловьиный успе». Впрочем, сие знаменование и поныне в некоторых речах осталось, как например, мы о сороке говорим: «сорока щекочет», то есть кричит, или о болтливой женщине: «какая щекотунья».³⁷

Это сближение старых значений слов с современными, постоянное распространение попутными замечаниями энергичного языка «Слова» и были для Пушкина приметамы «исправительного перевода», нарушающего дух подлинника.

Важно и другое: юмористический эффект подобных толкований привлекал внимание Пушкина к особой стилистической интонации автора «Слова» в его стилизациях под песни Бояна, «соловья старого времени».

Однако точный, передающий и стиль, и дух «Слова» перевод хотя и намечался Пушкиным первоочередной целью в его занятиях памятником, но эта цель отнюдь не исчерпывала его замысла. В исследовательской литературе не был до сих пор поставлен вопрос о жанре пушкинской работы о «Слове». Приведенное выше свидетельство А. И. Тургенева о предполагаемом «критическом издании сей песни, в роде Шлецерова Нестора», казалось бы, полностью проясняет этот вопрос. На самом же деле это определение принадлежит самому А. И. Тургеневу и могло не соответствовать действительному замыслу Пушкина. Среди же заметок Пушкина о «Слове» мы не обнаруживаем ни одной, которая касается собственно исторического содержания памятника. Показательна в этом отношении хотя бы такая деталь. Известно, что в конце 1836 года Пушкин получил от академика Кеппена копию исследования польского ученого Кухорского о Трояне, но в статье о «Слове» Пушкин замечает:

«(Четыре раза (упоминается в сей песни о *Трояне* (...)) но кто сей *Троян*, догадаться ни по чему не возможно)», говорят первые издатели). (...) Прочие

³⁶ См.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. 3-е изд. М.; Л., 1928. С. 278.

³⁷ Шишков А. С. Собр. соч. и переводов. Ч. 7. СПб., 1826. С. 42, 53, 47.

толкователи не последовали скромному примеру: они не хотели оставить без решения то, чего не понимали (XII, 151).

И далее Пушкин скептически упоминает о попытке отождествить Трояна в «Слове» с римским императором, не предлагая взамен никакого своего толкования.

Это свидетельствует о том, что Пушкин собирался написать о «Слове» как о произведении литературном, исследуя не исторические реалии, а дух времени, в нем запечатленный.

И ставя замысел Пушкина в контекст его произведений последнего времени, мы можем с достаточной уверенностью предположить, что он подготавливал произведение особого, характерного для поздней пушкинской прозы документально-публицистического жанра, подобного «Путешествию из Москвы в Петербург», «Вольтеру», «Запискам бригадира Моро-де-Бразе», «Джону Теннеру», уже упоминавшейся выше статье «О Мильтоне и Шатобриановом переводе „Потерянного рая“, начатому в последние месяцы жизни „Описанию земли Камчатской“. Все эти произведения хотя и основаны на чужом, обильно цитируемом тексте, вовсе не сводятся к его пересказу, но представляют собою опыт очерково-исторической прозы с яркой психологической характеристикой избранных авторов, с отчетливой публицистической направленностью и личными, собственно пушкинскими размышлениями, отразившимися нередко и во многих предшествующих его произведениях. В сущности, это жанр историко-литературного эссе или, как сейчас принято говорить, интерпретации – жанр по характеру своему беллетристический, с очень сильно выраженной собственной трактовкой чужого произведения.

Достаточно сравнить вступление к «Джону Теннеру», где открыто звучит пушкинский голос, с сохранившимся текстом введения к очерку о «Слове», чтобы убедиться в их подобии. Далее, по-видимому, так же как в «Джоне Теннере» (и других аналогичных пушкинских произведениях, упомянутых выше), должны были следовать комментированные Пушкиным пространственные цитаты из памятника, отобранные в соответствии с какой-то задушевной пушкинской мыслью, ей в конечном счете подчиненные.

От этой основной части очерка остались предварительные черновые заметки, охватывающие всего лишь начальную восьмую часть текста памятника. Очевидно, в этих заметках уже намечена некая центральная тема начатого очерка – тот собственно пушкинский аспект, который и должен был в данном случае определить выборочную цитацию и авторский комментарий, где была высвечена та дорогая Пушкину мысль, что и приковала его внимание к избранному им произведению другого автора.

Тема выявляется, на наш взгляд, достаточно отчетливо. Оригинальным, пушкинским, никогда до него не встречавшимся толкованием является его трактовка отношения автора «Слова» к своему великому предшественнику, «вещему Бояну».

А. С. Шишков считал, что сочинитель «Слова», «хотя и сам обилен мыслями, звучен словами, силен выражениями, однако с особливим благоговением, уничижая себя яко малого писателя перед великим, упоминает о некоем древнем певце или стихотворце Бояне».³⁸ Пушкин пробивается к принципиально иной трактовке. В самой первой строке памятника Пушкин уже видит то противопоставление, которое до него никогда не замечали. «Все занимавшиеся толкованием Слова о полку Игореве, – пишет Пушкин, – перевели: Не прилично ли будет нам, не лучше ли нам, не пристойно ли бы нам, не славно ли, други, братья, братцы, было воспеть древним складом, старым слоном, древним языком трудную, печальную песнь о полку Игореве, Игоря Святославича? Но в древнем славянском языке частица *ли* не всегда дает смысл вопросительный (...). В другом месте Слова о полку *ли* поставлено также, но все переводчики перевели не вопросом, а утвердительно.³⁹ То же надлежало бы сделать и здесь. / Во-

³⁸ Там же. С. 36.

³⁹ По основательному предположению Ф. Я. Приймы, Пушкин имел здесь в виду фразу: «Не тако ли, рече, река Стугна, худу струю именя...» и пр. (Прийма Ф. Я. «Слово о полку Игореве» в русском историко-литературном процессе первой трети

первых, рассмотрим смысл речи: по мнению переводчиков, поэт говорит: Не воспеть ли нам об Игоре по-старому? Начнем же песнь по былинам сего времени (то есть по-новому) – а не по замыслению Боянову (т. е. не по-старому). Явное противоречие! – Если же признаем, что частица *ли* смысла вопросительного не дает, то выдет: Не прилично, братья, начать старым слогом печальную песнь об Игоре Святославиче; начаться же песни по былинам сего времени, а не по вымыслам Бояна» (XII, 148).

Это не частное наблюдение Пушкина, а его принципиальное убеждение в том, что автор «Слова» вступал в соперничество с Бояном, которое, по мнению Пушкина, прорывалось в комплиментарных по виду, а на самом деле зачастую иронических по отношению к велеречивому стилю Бояна цитатах из его произведений, а также стилизациях под них.⁴⁰

Иронию эту Пушкин готов подозревать уже в первом воспроизведении Боянова стиля: «Боян бо вещей, аще кому хотяше песнь творити, то растекашеся мыслию по древу...» и пр. В этом отношении показательным пушкинское толкование старинной поговорки (1825):

Иже не ври же, его же не пригоже. Насмешка над книжным языком: видно, и в старину острялись насчет славянизмов.

Иронию, которая «пробивается сквозь пышную хвалу», Пушкин усматривает и во фразе:

О Бояне, соловью стараго времени, а бы ты сиа пълки ушекоталь, скача, славгю, по мыслену древу, летаяумомъ подь облаками, сплетая хвалы на всѣ стороны сего времени (...) (XII, 151).

Та же мысль содержится в пушкинском сопоставлении двух пассажей «Слова»:

«Пѣти было пѣсь Игореви, того Олга внуку» etc. Поэт повторяет опять выражения Бояновы – и, обращаясь к Бояну, вопрошает: «или не так ли петь было, вещей Бояне, Велесов внуче?».

«Комони ржуть (за Сулюю; звенить слава в Кыевѣ; трубы трубять в Новградѣ; стоять стязи в Путивлѣ; Игорь ждет мила) брата Всеволода». Теперь поэт говорит сам от себя не по вымыслу Бояню, по былинам сего времени. Должно признаться, что это живое и быстрое описание стоит иносказаний соловья старого времени (XII, 151–152).

Под собственным переводом первой фразы «Слова» Пушкин, между прочим, помечает:

Очень понимаем, почему А. С. Шишков не отступил от того же мнения. Ему, сочинителю Рассужд.(ения) о др.(евнем) и нов.(ом) (слоге), было бы неприятно видеть, что и во время сочинителя *Слова о пл(ку) И(горе)ве* предпочитали былины своего времени старым словесам (XII, 149).

Это замечание переводит пушкинское противопоставление Бояна и автора «Слова» в публицистический план.

В самом деле, на протяжении всей своей творческой деятельности Пушкин сам ратовал за ясный стиль точного описания и живого рассказа. «Д'Аламбер сказал однажды Лагарпу, – замечал Пушкин еще в 1821 году, – не выхваляйте мне Бюфона, [этот человек] пишет – Благороднейшее из всех приобретений человека было сие животное гордое, пылкое и проч. Зачем просто не сказать лошадь. (...) Но что сказать об наших писателях, которые, почитая за низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами? (...) Должно бы сказать рано поутру – а они пишут: Едва первые лучи

XIX в. Л., 1980. С. 172).

⁴⁰ См.: Смолицкий В. Г. Вступление в «Слово о полку Игореве» // Тр. отд. древнерусской литературы. Т. 12. М.; Л., 1956. С. 5–9. Иную точку зрения см.: Соколова Л. В. Зачин «Слова о полку Игореве» // Исследования «Слова о полку Игореве». Л., 1986. С. 65–74.

восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба – ах как это все ново и свежо, разве оно лучше потому только, что длиннее. (...) Точность и краткость – вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей – без них блестящие выражения ни к чему не служат (XI, 18–19)».

Эти давнишние размышления кажутся чуть ли не одновременными с заметками о «Слове». «Это благородное животное...» и пр. у Бюффона и «просто лошадь» стоят сопоставления «Не буря соколы занесе...» и «Комони ржут за Сулою».

Приведем еще несколько аналогичных высказываний Пушкина разных лет:

У нас употребляют прозу как стихотворство: не из необходимости житейской, не для выражения нужной мысли, а токмо для приятного проявления форм (1827) (XI, 60).

В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному (...) Мы не только еще не подумали приблизить поэтический слог к благородной простоте, но и прозе стараемся придать напыщенность... (1828) (XI, 73).

Однообразные и стеснительные формы, в кои отливал он (Ломоносов. – С. Ф.) свои мысли, дают его прозе ход утомительный и тяжелый. Эта схоластическая величавость, полуславенская, полулатинская, сделалась-было необходимостью: к счастью Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова. (...) Высокопарность, изысканность, отвращение от простоты и точности, отсутствие всякой народности и оригинальности, вот следы, оставленные Ломоносовым (1833–1834) (XI, 249).

Из этих пушкинских замечаний, перечень которых можно было бы продолжить, становится очевидным, что в благородной простоте он видел качество народности, отсутствующее в велеречивом стиле. Это проясняет смысл противопоставления Бояна автору «Слова».

В вельтмановском переводе «Слова» Пушкин делает поправку в стихе: «Струны во славу князьям рокотали» – «хвалу». Тот же смысл – в заметке Пушкина по поводу фразы «Помняшь бо речь первых времен усобице»:

Ни один из толкователей не перевел сего места удовлетворительно. Дело здесь идет о Бояне; всё это продолжение прежней мысли: Поминая предания о прежних бранях (усобица значит ополчение, брань, а не междуусобие, как перевели некоторые (...)) (XII, 149–150).

Иными словами, Пушкин считает Бояна певцом славословий в честь князей. Автор же «Слова», вероятно, для Пушкина представитель народной поэтической культуры. В этом, по-видимому, смысл последней из заметок Пушкина, которой обрывается его статья о «Слове»:

Г. Вельтман (пишет: *Кметъ. Значит частный начальник, староста.*)
Кметъ значит вообще крестьянин, мужик. *Kag gospoda stori krivo, kmeti morjo plazhat' shivo*⁴¹ (XII, 152).

В процессе работы над «Словом о полку Игореве» Пушкин подходит к принципиально новому осмыслению этого произведения. Тогда-то он, по-видимому, и открывает диалогичность⁴² (как мы бы сейчас сказали) стиля «Слова». Вполне вероятно и то, что взаимоотношения

⁴¹ Коль господа чинят несправедливость, крестьяне должны платиться жизнью (словенск.).

⁴² См.: Лихачев Д. С. Предположение о диалогическом строении «Слова о полку Игореве» // Исследования «Слова о полку

(соперничество) автора «Слова» с «соловьём старого времени» Пушкин не собирался трактовать исключительно в одном ключе – в качестве иронического неприятия:

Не решу, упрекает ли здесь Бояна или хвалит, но, во всяком случае, поэт приводит сие место в пример того, каким образом слагали песни в старину (XII, 149).

Впервые в истории изучения памятника он уловил в «Слове» две стилистические системы, находящиеся в сложном единстве: «трудную (печальную) повесть» и славу (хвалу) князьям. В этом отношении вся центральная часть памятника – «золотое слово Святослава», хотя и «смешено со слезами», но произносится как хвала князьям, т. е. «по замыслению Бояню».

Эта оригинальная пушкинская трактовка памятника заслуживает дальнейшего критического исследования.

Первая поэма Пушкина

О поэме «Монах» – сначала только по названию – стало впервые известно лишь в 1863 году со слов князя А. М. Горчакова, который позже сообщил о том, что убедил юного поэта уничтожить «дурную поэму довольно скабрёзного свойства». ⁴³ Однако автограф ее был обнаружен в 1928 году как раз в архиве Горчакова. Рукопись (ПД 861–863) состоит из трех тетрадей, каждая из которых содержит по одной песне (далее поэма, наверное, автором не была продолжена); характерный пушкинский почерк, быстро в детстве менявшийся, позволяет твердо датировать ее июнем-июлем 1813 года (бумага имеет филигранные того же года). Таким образом, поэма «Монах» предстает самым ранним произведением Пушкина из дошедших до нас. Стилистически следуя в нем традициям легкой эротической поэзии, и прежде всего «Орлеанской девственнице» Вольтера, юный Пушкин в сюжете использует коллизию, подчеркнутую в Житии Иоанна Новгородского, в основной редакции которого имеется «Слово 2-е о том же о великом святителе Иоанне, архиепископе Великого Новгорода, како был в единой нощи из Новаграда в Иеросалим град и паки возвратися в Великий Новъград тое же нощи». ⁴⁴

Впрочем, эта сюжетная коллизия развита в поэме вполне самостоятельно. Действие ее переносится в Подмосковье:

Невдалеке от тех прекрасных мест,
Где дерзостный восстал Иван Великий,
На голове златой носящий крест,
В глуши лесов, в пустыне мрачной, дикой,
Был монастырь... ⁴⁵

По справедливому замечанию В. С. Листова, здесь имелся в виду Савво-Сторожевский монастырь близ Звенигорода. ⁴⁶

Герой пушкинской поэмы назван Панкратием, и в его характеристике явственно проступают травестиинные черты:

Наш труженик не слишком был богат,
За пышность он не мог попасться в ад,
Имел кота, имел псалтырь и четки,
Клубук, стихарь да штоф зеленой водки.

...

Весь круглый год святой отец постился,
Весь Божий день он в келье провождал,
«Помилуй мя» вполголоса читал,

⁴³ Русская старина. Т. 40. № 10. С. 155.

⁴⁴ Впрочем, существует и народная легенда «Поездка в Иерусалим»: «Какой-то архимандрит встал к заутрине; пришел умываться, видит в рукомойнике нечистый дух, взял его да и загородил крестом. Вот дьявол и взмолился: „выпусти, отче! Каку хошь наложь службу – сослужу!“ Архимандрит говорит: „свозишь ли меня между обедней и заутриной в Ерусалим?“ – „Свожу, отче, свожу!“ Архимандрит его выпустил и после заутрины до обедни успел съездить в Ерусалим, к обедне поспел обратно. После забрали как-то справки, – все удивились, как он скоро мог съездить в Ерусалим, спросили его, и он рассказал это» (Народные русские легенды, собранные А. Афанасьевым. Лондон, 1859. С. 75. В примечаниях к этой легенде составитель заметил: «Перейдя в область народной литературы, сказание это, без сомнения, должно было подчиниться различным переделкам и изменениям; в устах народа появилось оно во множестве вариантов, далеко отступающих от своего первоначального источника, но тем не менее любопытных своими характеристическими подробностями»).

⁴⁵ Пушкин А. С. Лицейские стихотворения. СПб., 1999. С. 14. Далее сноски на это изд. см. в тексте.

⁴⁶ Листов В. С. Вокруг пушкинского отрывка «На тихих берегах Москвы...» // Болдинские чтения. Горький, 1980. С. 168.

Ел плотно, спал и каждый час молился (с. 15).

Иначе Пушкин описывает и появление беса. В Житии:

В един убо от дний святому по обычаю своему в ложнице своей молитвы
нощные свершающу. Имеяше же святыи сосуд с водою стоящъ, из него же
умывашеся. И слыша в сосуде оном некоторого поропщюща в воде, и прииде
скоро святыи, и уразумева бесовское мечтание. И, сотвори молитву, и огради
сосуд крестом и запрети бесу.⁴⁷

У Пушкина же бес (названный Молоком) сначала забирается под рясу монаха, а потом то превращается в юбку, то жужжит мухой над спящим Панкратием, внушая ему сладострастный сон, и снова предстает виденьем юбки, пока монах не обливает его освященной водой:

О чудо!.. вмиг сей призрак исчезает —
И вот пред ним с рогами и хвостом,
Как серый волк, щетиной весь покрытый,
Как добрый конь с подкованным копытом,
Предстал Молок, дрожащий под столом,
С главы до ног облитый весь водою... (с. 22)

Предложение свезти монаха в Иерусалим в поэме исходит от беса (в Житии – от Иоанна). Самое же главное – в лицейской поэме с самого начала предвещается неминуемая победа беса над монахом:

Хочу воспеть, как дух нечистый ада
Оседлан был брадатый стариком;
Как овладел он черным клобуком,
Как он втокнул монаха грешных в стадо (с. 14).

Поэма обрывается в начале путешествия в Иерусалим. Как должны были дальше развиваться ее события? Для того, чтобы это представить, необходимо понять сюжетобразующую функцию пушкинских отклонений от текста Жития.

Действие поэмы перенесено Пушкиным в хорошо знакомые по долицейскому детству места: Савво-Сторожевский монастырь располагался недалеко от Захарова, имения бабушки поэта М. А. Ганнибал.

Очевидно, основные события в поэме «Монах» должны были развернуться уже после возвращения героя из Иерусалима, и автор предпочитал оставаться в знакомой обстановке (Новгорода же он в ту пору не знал). Но это означало, что окончание истории о противоборстве монаха с бесом мыслилось им иначе, чем в Житии. Иоанн Новгородский, дав слово бесу никому не рассказывать о чудесном путешествии, нарушил его, и только тогда бес обращивается предметами женского туалета и предстает девицей, смущая не праведника, а прихожан, которые решают наказать блудника-архиерея. Ведут его к мосту на Волхове и сажают на плот, дабы река унесла грешника из города, но плот со святым начинает двигаться вверх по течению, к Юрьеву монастырю, являя чудо, разоблачающее козни беса. Конечно, можно было бы вообразить нечто подобное и на Москве-реке близ Савво-Сторожевского монастыря, но в отличие от многолюдного Новгорода, узревшего небесные знамения, в поэме Пушкина изображен

⁴⁷ Памятники литературы Древней Руси. ХТХ – середина XV века М., 1981. С. 454.

«монастырь уединенный». Задача беса здесь – не опорочить праведника в глазах окружающих, а совратить его самого, втолкнуть его «грешных в стадо».

Распространенный в христианских Житиях мотив о заключенном бесе восходит к сказанию о власти Соломона, запечатавшего бесов в бутылках.⁴⁸ Новгородская легенда уже далеко отступает от этой традиции, насыщаясь народно-сказочными мотивами о состязании человека с нечистыми, о взаимных их ухищрениях одолеть друг друга. Л. А. Дмитриев справедливо отмечает в Житии Иоанна Новгородского красочность, живость изображения целого ряда ситуаций, местный новгородский колорит, что усиливает повествовательный характер Жития.⁴⁹ Все это и привлекло внимание Пушкина к данному тексту. Работая над поэмой, Пушкин углубляет и психологическую характеристику героя. Читателю понятно, что видение юбки – это не просто мираж, напускаемый бесом, но ропот подавляемой послушанием плоти, невольное проявление грешной человеческой природы, ее «бесовского начала» такого рода, которое прорывается в чувственном сне Панкратия. Любовные мечтания чернецов получили отражение в монастырских греховных песнях, которые запоют в корчме монахи Варлаам и Мисаил в трагедии «Борис Годунов».

Ряд деталей в лицейской поэме подготавливает трагикомический финал. Едва ли случайно упомянут здесь живущий в келье монаха кот. В словаре В. Даля зафиксировано несколько пословиц и поговорок, сближающих кота и попа: «все коту масленица, попу фомин понедельник»; «Постригся кот, посхимился кот, да все тот же кот»; «Он не кот, молока не пьет, а от винца не прочь»; «Что кот, что поп – не поворча не съест»; «Это мыши кота погребают» (о притворной печали).

Имя пушкинского беса Молок, как справедливо полагают, пришло в его поэму из «Потерянного рая» Мильтона, но русское ухо неизбежно услышит в нем знак женского начала (молоко). При обнаружении беса монах называет его Мамоном («Ага, Мамон! дрожишь передо мною»). В церковном словаре слово это означает богатство, пожитки, земное сокровище, которыми бес пытается прельстить монаха («Богатства все польют к тебе рекою»). Но в разговорном языке *мамон* – брюхо, желудок; *мамонить* – соблазнять, прельщать; *мамоха, мамошка* – любовница. А избранное Пушкиным имя героя – неужели оно случайно? Едва ли это так. В Великих Четых Минеях значились два святых под именем Панкратий: летний (9 июля) и зимний (9 декабря). Оба они имели дело с бесами, а первый из них побывал и в Иерусалиме (правда, без бесовской помощи) – подвижник раннего христианства, он встречался там с апостолами Петром и Павлом. Но, кажется, Пушкин ориентировался все же на Панкратия зимнего. Вовсе не потому, конечно, что тот загнал бесов, принявших вид свиней, в пещеру и запечатал их крестом – ничто в сюжете пушкинской поэмы не предвещает подобного эпизода. Важно оценить одну деталь, означенную в тексте поэмы:

И вдруг бела, как вновь напавший снег
Москвы-реки на каменистый берег,
Каклегка тень, вглазах явилась юбка... (с. 22)⁵⁰

Здесь вспоминается начало зимы («Вновь напавший снег» – это первый в году снег, покрывающий каменистый берег реки). По народному календарю, «осень кончается, зима

⁴⁸ Дурново Н. Н. Легенда о заключенном бесе в византийской и старинной русской литературе//Древности. Труды славянской академии... М., 1907. С. 54–152, 319–326.

⁴⁹ Дмитриев Л. А. Житийные повести Русского Севера как памятники литературы XIII–XVII вв. Л., 1973. С. 157.

⁵⁰ В. С. Листов эти строки считает намеком на праздник Покрова (1 октября). Более рискованным нам кажется его предположение о том, что в плане продолжения поэмы могла быть изображена поездка не в град Давидов, а в близлежащий Ново-Иерусалимский монастырь на Истре: Листов В. С. «Голос музы темной...» К истолкованию творчества и биографии А. С. Пушкина. М., 2005. С. 225–228.

зачинается» именно 9 декабря: «сельские хозяева по созвучию замечают, что с праздника зачатия св. Анны начинается зима».⁵¹ День зачатия св. Анны, матери св. Девы Марии, совпадал с днем Панкратия зимнего, 9 декабря. Панкратий становился как бы покровителем беременных женщин, которые особо почитали этот день. Вспомним, что позднее свою кошунственную поэму «Гавриилиада» Пушкин посвятит празднику Благовещения – оказывается, в его лицейском опусе намечалось уже нечто подобное. После возвращения героя из Иерусалима в келье должна была появиться уже не только юбка, но и девица. Согласно намеченной Пушкиным трактовке событий, она явится именно герою, а не прихожанам. Способен ли он выдержать такое испытание?

Близкие по времени к поэме «Монах» пушкинские стихотворения кончаются одним и тем же устойчивым мотивом:

Дай Бог, чтоб в страстном упоеньи,
Ты с томной сладостью в очах,
Из рук младого Купидона,
Вступая в мрачный челн Харона,
Уснул... Ершовой на грудях!

(«Князю А. М. Горчакову». I, 50)

Так поди ж теперь с похмелья
С Купидоном примиришь;
Позабудь его обиды
И в объятиях Дориды
Снова счастьем насладись!

(«Блаженство». I, 56)

Когда ж пойду на новоселье
(Заснуть ведь общий всем удел),
Скажи: «дай Бог ему веселье!
Он в жизни хоть любить умел».

(«К Н. Г. Ломоносову». I, 76)

Веселье! будь до гроба
Сопутник верный наш,
И пусть умрем мы оба
При стуке полных чаш!

(«К Пушкину. 4 мая». 1,120)

«Штоф зеленой водки» у Панкратия и до того был под рукой. Оставалось дело за девицей. Возможно, в воображении Пушкина мелькала заключительная ситуация, отраженная позднее в стихотворении «Русалка» (1819). Современники иногда упоминали его под названием «Монах»:

Над озером, в глухих дубровах

⁵¹ Церковно-народный месяцеслов на Руси И. П. Калинского. М., 1990. С. 68.

Спасался некогда Монах,
Всегда в занятиях суровых,
В посте, молитве и трудах (...)
И вдруг... легка, как тень ночная,
Бела, как ранний снег холмов,
Выходит женщина нагая
И молча села у берегов.
Глядит на старого Монаха
И чешет влажные власы.
Святой Монах дрожит со страха
И смотрит на ее красы.
Она манит его рукою,
Кивает быстро головой...
И вдруг – падучею звездою —
Под сонной скрылася волной (...)
Заря прогнала тьму ночную:
Монаха не нашли нигде,
И только бороду седую
Мальчишки видели в воде (II, 96–97).

Поэма «Монах» не была окончена Пушкиным и стала известна читателям спустя более столетия после ее создания. Она вполне вписывается в контекст раннего лицейского творчества поэта и отчасти проясняется этим контекстом. Монах – это вообще первая из поэтических масок, которую примеряет к себе юный поэт-лицеист, – монах, заключенный в келье, но мечтающий о радостях земных. Кажется бы, этим и исчерпывается скромная роль первой поэмы в общей эволюции пушкинского творчества.

С некоторым удивлением, однако, мы обнаруживаем, насколько часто Пушкин впоследствии возвращался по разным поводам к опыту своего юношеского сочинения. Нетрудно различить его «остаточное влияние» в «Руслане и Людмиле», в «Гавриилиаде», в «Сцене из Фауста», в «Борисе Годунове», в «Сказке о попе и работнике его Балде», в «Русалке». Но это только первый, поверхностный слой.

Во Второй кишиневской тетради (ПД 832) мы находим начало произведения:

На тихих берегах Москвы
Церквей, венчанные крестами,
Сияют ветхие главы
Над монастырскими стенами.
Вокруг простерлись по холмам
Вовек не рубленные рощи,
Издавна почивают там
Угодника святые мощи (II, 261).

Конец листа оборван, остались лишь рифмующиеся окончания третьего четверостишья: «...цариц... молитвы... девиц... битвы».

Здесь имеется в виду все тот же Савво-Сторожевский монастырь, который послужил местом действия первой пушкинской поэмы. Серьезный тон повествования не предполагает, кажется, озорного сюжета.

Мы далеки от мысли, что здесь Пушкиным предпринята попытка «перелицевать» все-речь коллизии «Монаха», но в любом случае замысел этот интересен потому, что он возникает

спустя год после окончания поэмы «Гавриилиада», в период тяжелейшего духовного кризиса поэта, пытавшегося его преодолеть. Не служит ли отрывок «На тихих берегах Москвы» свидетельством таких попыток?⁵²

С другой стороны, бесовская тема останется постоянной в творчестве Пушкина. В его графике, всегда отражающей ход подспудных, сопровождающих черновые рукописи ассоциаций, изображения бесов и ведьм, нарисованные с редкой экспрессией, столь же часты, как и знаменитые рисунки женских ножек. Именно в графике прежде всего был намечен долго волновавший Пушкина замысел о Влюбленном бесе.⁵³ Следы этого замысла обнаруживают в «Евгении Онегине», «Домике в Коломне», «Пиковой даме», «Медном всаднике».

Все это свидетельствует о том, что, оказывается, уже в первом из дошедших до нас произведений Пушкин счастливо угадал едва ли не главное направление своего творчества. Озорство в интерпретации религиозных сюжетов с годами пропадет, но останется постоянным его интерес к древнерусской книжности наряду с народно-поэтическим творчеством. Через головы декларируемых им самим литературных кумиров (Парни, Вольтер, Байрон, Шекспир и другие) Пушкин постоянно будет обращаться к истокам русской культуры. Мировой художественный опыт будет преломлен в его творчестве через призму («магический кристалл») национального самосознания, что позволит ему открыть «Золотой век» русской литературы.

⁵² Об этом фрагменте см.: Неизданный Пушкин. Вып. 1. СПб., 1996. С. 42–45.

⁵³ См.: Цявловская Т. Г. Влюбленный бес (неосуществленный замысел Пушкина) // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 3. М.:Л., 1960. С. 101–130.

Смеховой мир «Комедии о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве»

Работа Пушкина над трагедией «Борис Годунов» была стимулирована X и XI томами «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, чтение которых получило отражение в портрете историографа на л. 41 одной из рабочих тетрадей Пушкина (Второй масонской, ПД 835)⁵⁴ – среди черновых набросков начала четвертой главы «Евгения Онегина» (здесь же портреты Мирабо и Вольтера, автопортрет, стилизованный под Вольтера). На л. 44 и 44 об., в ноябре 1824 года, записывается конспект из карамзинской «Истории», касающийся прежде всего «Убиения Св.(ятого) Димитрия» в 1591 году. От этого события конспект первоначально сразу же переходил к 1598 году: «Государств.(енный) Дьяк и печатник Василий Щелкалов требует присяги во имя Думы Боярской. Избр.(ание) Годунова». Ниже (на л. 44 об.), однако, суммируются сведения о «ссылках и казнях 1584–1587» и о составе Верховной Думы 1584 года – последним здесь значится «Гудунов, зять Малюты Скуратова». Дополнения эти, вероятно, важны для Пушкина в качестве фактов, свидетельствующих о давней и планомерной коварной подготовке Борисом Годуновым условий для собственного воцарения – еще до начала правления хилого и невластолюбивого преемника Иоанна Грозного, царя Феодора.

На л. 45 набрасывается план произведения:

Год.(унов) в монастыре. Толки князей – вести – площадь, весть об избрании. [Год.(унов) юродивый] – Летописец. Отрепьев – бегство Отрепьева.

Год.(унов) в монастыре. Его раскаянье – монахи беглецы. Гуд.(унов) в семействе —

Гуд.(унов) в совете. Толки на площади. – Вести об изменах, смерть Ирины. Год.(унов) и колдуны.

Самозванец [поср(еди)] перед сражением —

Смерть Годунова (– известие о первой победе, пиры, появление самозванца) присяга бояр, измена

Пушкин и Плещеев на площади – письмо Димитрия – вече – убиение царя – самозванец [принима(ет)] въезжает в Москву.

В ходе работы над пьесой план этот был существенно откорректирован: были введены польские сцены; о смерти Ирины и об общении царя с колдунами будет лишь упомянуто в репликах (отдельных сцен об этом не будет, как и отдельной сцены «Годунов в монастыре»); самозванец появится в большем количестве сцен (хотя и не будет показан его въезд в Москву) и сюжетно в пьесе встанет наравне с Годуновым.

Особо следует отметить отсутствие в плане (и в конспекте из «Истории») комических сцен, за исключением, пожалуй, только одной, вычеркнутой в первом абзаце плана, – «Годунов юродивый». Ее обычно считают наметкой сцены «Площадь перед собором в Москве», помещенной значительно ниже. Однако здесь возможно и другое толкование. Дело в том, что после согласия занять престол Борис Годунов вовсе не покинул сразу же монастырь и некоторое время правил государством оттуда. Следуя (особенно вначале) канве событий, изложенных в томе XI «Истории государства Российского», Пушкин мог обратить внимание на такое замечание историографа:

Святители, вельможи тщетно убеждали царя оставить печальную для него обитель, переселиться с супругою и с детьми в кремлевские палаты, явить

⁵⁴ См. также факсимильное издание: Пушкин А. С. Рабочие тетради. Т. 4. Петербург; Лондон, 1996.

себя народу в венце и на троне; Борис отвечал: «Не могу разлучиться с великою государынею (вдовой царя Феодора. – С. Ф.), моею сестрою злосчастною» – и даже снова, *неутомимый в лицемерии* (курсив мой. – С. Ф.), уверял, что не желает быть царем.⁵⁵

Этот эпизод воцарения лицемерного (юродствующего) Бориса мог послужить содержанием соответствующей сцены (впрочем, в плане тотчас же упраздненной).⁵⁶

⁵⁵ Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. 9. СПб., 1824. С. 8. Далее, при ссылках на этот том номера страниц (или порядковый номер карамзинских примечаний, помещенных в конце тома, без обозначения нумерации страниц) указываются в тексте статьи.

⁵⁶ Когда в пушкинском плане намечались сцены с двумя (и более) участниками, они обозначались через союз «и»: «Годунов и колдуны», «Пушкин и Плещеев на площади», но «монахи беглецы».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.